

Соболь Андрей Михайлович

**Записки каторжанина:
Воспоминания о царской
каторге**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
А65

А65 **Андрей Михайлович С.**
Записки каторжанина: Воспоминания о царской каторге / Соболев Андрей
Михайлович – М.: Книга по Требованию, 2026. – 110 с.

ISBN 978-5-519-74447-8

ISBN 978-5-519-74447-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2026

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2026

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

I.

Шел к концу 1905 год.

Время было нелегкое, трудное. Только что отшумело московское восстание, — разгром его на некоторое время спутал ряды, уныние и отчаяние стали уделом многих, охранка, полиция и жандармерия поднимали голову, одна за другой проваливались организации, аресты шли тысячами, кое-кто из уцелевших уходил в сторону.

Но — революция продолжалась, революция не прекращалась — и смена на смену смене выступала.

И если разочарование стало уделом многих, и если отчаяние овладело многими, то все же не дано было царскому правительству торжествовать победу.

Девятьсот пятый год шёл к концу, но революции не было конца.

В эти тяжелые дни судьба закинула меня в маленький польский городок неподалеку от немецкой границы — налаживалась работа по доставке оружия в Питер, к годовщине 9 января, а местная организация, ежедневно теряя своих работников, с трудом, но продолжала нелегкую работу, главным образом среди солдат: в городке стояли два пехотных полка и один кавалерийский, при чем некоторые буйные

головы мечтали о вооруженном восстании, а более уравновешенные и спокойные вели будничную агитационную работу.

В последних числах декабря я вернулся из Эйдкунена, а в ночь под первое января мы, члены организации и представители солдат, закончив заседание, съимпровизировали встречу нового года.

Даже и в то тяжелое время мы в иные минуты умели и разрешали себе смеяться — и в маленьком крохотном городишке новый год был встречен бодро, с шутками, со смехом.

В здоровенный декабрьский мороз мы провожали невеселое ушедшее и светло, веруя и надеясь, глядели будущему в глаза.

Почти на рассвете расстались, разошлись по углам своим; я побрел в свой подпольный уголок, хорошо скрипел снег под ногами, было белым бело вокруг, тихо и славно городишко спал — и разве заснешь в такую ночь, особенно если тебе семнадцать лет и веришь ты, что не сегодня — завтра вся Россия обратится в пылающий костер!

А утром с новым годом пришла новая квартира: тюрьма.

И стало так, как говаривал когда-то один старый и, как видно, неглупый еврей:

— Новая квартира — новое счастье; новое счастье — новая жизнь; новая жизнь — новое несчастье.

Не успеваешь даже и постичь всего, как ты уже вне живого мира и старая тюремная дверь, скрипя, чертит грань между вчерашним и сегодняшним, и „вчера“ — это уже история, прошлое, которому сто лет, а „сегодня“ — мрак и смерть.

В яркий зимний день вели меня по улицам; шел в сопровождении вооруженных солдат, снова слы-

шал, как снег скрипит, глядел на узорную бахрому крыш, — и не хотел и не мог верить, что все это вижу и слышу в последний раз.

Я был спокоен:

— Все просто и все в порядке вещей. Держись, друг!

Но где-то в глубине души признавал, что я накануне большого события своей жизни и что воистину готов опуститься железный занавес и что разрежет он жизнь мою пополам.

И то, что по ту сторону занавеса — то будет непоправимо, будет сделано уверенно, твердо и надолго, как надолго скроется солнце, как надолго, если не навсегда, надо забыть и про скрип саней и про то, что в зимнее утро так радостно румянится небо за дальней рощей.

А незабываема первая ночь в тюрьме! Ее помнишь на всю жизнь, как помнишь до могилы первую разлуку с любимой.

Да, потом становишься крепче, да, потом уже берешь себя в руки, следишь за собой, контролируешь себя, но в первые часы нет места сухому разуму, и каждая минута тебе кажется вечностью, и взад и вперед, и взад и вперед мечешься ты от нар к двери, и на этом клочке пространства то спотыкаешься, то приходишь в бешенство, и на этом клочке теперь вся жизнь собрана в комок.

Потом привыкаешь, потом уж становишься мудрее и привыкаешь к тиши, привыкаешь к решеткам.

Но когда в первый раз вводят тебя в камеру — каким глухим биением сердца отвечаешь ты стуку запираемой двери.

Дверь — точка. Дверь — конец.

Кончено: нельзя ее открыть, нельзя узнать, что за нею.

Глупости, глупости — надо стучать, стучать, стучать...

— Я тебе постучу.

— Я требую...

— Я тебе потребую.

Кончено: тишина, безмолвие, равнодушие.

И тянешься к окну, а оно высоко, высоко, почти у потолка,—попробуй-ка дотянуться, а дотянешься—окрик:

— Уходи. Стрелять буду.

И первая мысль в отчаянии: ну, ладно, и стреляй, тем лучше.

Но, к счастью, есть и вторая и третья мысль, и они умнее, благоразумнее: нет такого положения, из которого не было бы выхода, подождем.

И не приходится долго ждать: неделя, другая — и вызывают меня в этап: отправка.

Дней через семь я уже в Вильне, еще 24 часа — и я в здании военно-окружного суда.

Городишко, где я был арестован, в административном отношении относится к Польше, но в военном входит в состав Виленского военного округа, потому избегаю военно-полевого суда. Все это выяснилось потом, но в первый день ареста товарищ мой и я не сомневались, что ждет нас полевой суд и ему свойственная короткая расправа.

В такое же солнечное утро, как и в день ареста, происходило заседание суда.

В огромном зале с царскими портретами сладко дремал один из судей, старичек полковник, но зато прокурор, лысый, хорошо откормленный, краснощекий, накануне пославший двух человек на смертную казнь, очень разумно, очень толково и усердно доказывал, что наказать нас надо не менее, как 15-ю годами каторжных работ.

Очень не понравилось господину прокурору, что товарищ и я явились на суд в черных косоворотках, — в те времена в Литве и Польше черная косоворотка являлась пугалом, не любили ее власть имущие, за косовороткой черной чудились бомбы, выстрелы и прочие невкусные вещи.

Помню, защитник уговаривал нас снять косоворотки, дружески советовал понапрасну не раздражать судей, но мы были тверды, — помилуйте, да разве можно иначе!

И крепко, крепко мы рассердили господина прокурора.

И процедура прошла мигом: ни на чем не занулись, что надо сказать — сказали, гладко и без сучка и задоринки приспособили нужные статьи закона и скороговоркой прочли приговор.

Так же быстро постарались провести нас мимо друзей, столпившихся у ворот суда.

Конвой окружил нас, унтер скомандовал, шашки блеснули на солнце — обогнули ворота и марш к тюрьме, а среди провожающих нашелся один — горячий да быстрый — и крикнул он нам в напутствие:

— Увидимся в свободной России.

И замолк, бедный, сцапанный полицией.

А в Лукишках, в небезызвестной Виленской тюрьме, где томились тогда Мендель Дейч, Овсей Таратута и другие революционеры, нам дали сразу понять, что до свободной России далеко, а мы поняли, в свою очередь, что нам надо запастись терпением: большим, философским.

Но понять — это одно, а выполнить — это другое: мы были молоды и, к сожалению, весьма плохими философами.

По правде говоря, в каменном мешке Лукишек, в идиотско-нелепом наряде трудно выдержать роль Панглоса, особенно, когда новому Панглосу всего-то 18 лет, а впереди годы каторги и вечное поселение.

Попытался я связаться с моим соседом. Попытка удалась, и оказался мой сосед Овсеem Таратутой.

О нем я слышал давно, это имя было на устах у всех, — понятна моя радость, когда в первый раз обменялись мы с ним живым словом.

Трудно далось нам наладить беседу, но — кое-как приспособились.

Я влезал на свой подоконник, Таратута — на свой; глаза — в ту сторону, где часовой, а ухо настороже.

Жадно ловил я слова Таратуты. Не видел его, но чувствовал его, не знал, какого цвета глаза моего соседа, но всей душой сознавал, что не могут они быть иными, как только ласковыми и мягкими.

Этими беседами много сделал для меня Таратута, не малому я научился у него и, уходя из Лукишек, я уносил с собой память о чудесном друге — друге, лица которого так и не удалось мне увидеть.

А „каторжная“ жизнь шла своим чередом.

Кончилось обращение на „вы“: появилось „ты“ с зуботычинами, с прикладом в спину, с окриками, с трехэтажными...

Исчезло собственное белье, — взамен дерюга; вместо обуви — нелепые коты и кандалы.

Заковывали целую партию в длинном, узком и темном коридоре.

Стояли в затылок и один за другим подходили, клали ногу на маленькую наковальню, и кузнец быстрым взмахом молотка расплющивал заклепки.

Издали казалось: вот-вот сорвется молоток и ударит по ноге.

Кладешь ногу на наковальню и кажется: железо обжигает.

Нет, нет, что-то другое обожгло.

И понятно, почему тихо в коридоре, почему не слышно человеческого голоса, почему сосед отворачивается от соседа.

А молоток стучит, стучит, не переставая...

Кончилась заковка — и вся тюрьма переполнилась звоном: первые дни не привыкнуть к нему, на первых порах не отвязаться от него, надоедливому, навязчивому.

И ночью звон: один шевельнет ногой спросонья, другой — звон слабый, будто незаметный, но ранящий сердце глубоко, глубоко.

Кандальный звон!

И в тюрьме он раздавался, и в вагонах по дороге к Байкалу, к сопкам, к тайге, и на пешем тракте сибирского простора, когда партия в 200 — 250 человек версту за верстой отбивает, пыль поливая каторжным потом, и на Амурской колесной дороге вблизи синего Хин-Гана, и в темных карцерах, бесчисленных карцерах на длинном каторжном пути от Сувалок до Благовещенска, — от хмурых литовцев до косоглазых „ходи“.

Везде он был, везде, где только чернела решетка, где только серел каторжный бушлат, где только раздавалось:

— Становись на поверку!

Звон — мимо гор, лесов, полей, вдоль Волги, Камы, Байкала, Амура, зимой, летом, в дождь, в вьюгу, в жару, в службу, — извечный царский кандальный звон.

Вечером, в Гродненской тюрьме, поляки пели старую кандальную песню, завещанную польскими революционерами 60-х годов, — пели, аккомпанируя кандалами, танцуя, кружась.

Ругались надзиратели, угрожали высшим начальством, но кандалная песнь росла и ширилась...

Со звоном началась каторга.

Но, как всегда, на-ряду с жутким и страшным было смешное.

Помню, встаешь утром, надо одеваться — и перед тобой непосильная задача: как надеть брюки! Начинается возня: сперва в одно кольцо проденешь, потом в другое — ничего не выходит; сызнова начинаешь — и опять путаешься.

Злишься и хохочешь.

Меня учил старик-уголовный женоубийца, по-хорошему учил, любовно, и если отметок не ставил, то во всяком случае давал ту или иную оценку.

Учил так же, как подкандалники половчее уместить, как цепь к поясу привязать, как кандалы на ночь снять. Но мне попались узкие кольца — едва палец пролезал — и даром я потратил много усилий и не мало мыла.

Трудная наука снимать кандалы на ночь, чтобы ранним утром, задолго еще до поверки, успеть снова натянуть их. Были по этой части виртуозы: умудрялись в один миг.

Я научился расставлять ноги, не путаясь в кандалах, и даже бегать. Я научился спать, не отбивая правую ногу левым кольцом.

Я был готов к пути, а он лежал передо мной — неведомый и жуткий и — знал я — очень долгий и утомительный.

— Становись на поверку!

Утро, едва брезжит рассвет — и звенят и звенят кандалы.

II.

После суда, после месячного сидения в Лукишках, нас вернули в уездную тюрьму.

Трудно прошел месяц в Лукишках: полная изоляция в одиночке, ни одной газетной строчки, ни одного человеческого лица, прогулка по кругу один на один — и ненарушимая мертвая тишина.

Мои разговоры с Таратутой, к сожалению, были кратки: протекали они урывками, иной раз, бывало, начнешь разговор утром, а заканчиваешь его на следующий день, — к волчку подкрадывался надзиратель, неслышно, точно на цыпочках, а налетал с криком.

После шума и гула моей уездной тюрьмы, лукишская тишина подавляла, в этой мертвой тишине всякая бодрая мысль немедленно гасла, — и только тихий окрик Таратуты: „Вы тут?“ спасал меня.

Я тяжело спал и тяжело бодрствовал, я долго не мог привыкнуть к тишине.

С нетерпением ждал отправки в свою тюрьму: я знал, что в конце концов меня должны туда отправить.

И блаженный час наступил:

Под вечер повели в пересыльную, оттуда в дорогу: домой — да, да, старая тюрьма — это почти

„дом свой“, — почти, когда путь твой пролегает по бесконечным тюрьмам Российской империи.

Но вернулись мы иными: каторжанами, потому по-иному встретила нас старая тюрьма: патриархальные порядки канули в вечность, днем и ночью раскрытые двери с треском захлопнулись, свидания с мифическими женами прекратились, довольно внушительная кипа нелегалыщины, доселе открытая взору каждого, ушла в подполье.

Нашего начальника тюрьмы звали: Наполеон Брониславович.

И он, некогда воск, по-наполеоновски расправился с нами, когда мы объявили голодовку, требуя возвращения прежних вольностей: подследственных разъединил, рассовал по углам, а каторжан назначил к немедленной отправке.

Мы голодали четыре дня.

Легко началась голодовка — пением „Марсельезы“, криками „ура“, речами; на второй день уже стало тихо.

Помню: с нами сидел гимназист седьмого класса; террорист, кандидат в смертники, любил Чехова — и в первый день он все дразнил нас чеховской „Сиреной“, чтобы потом, два дня спустя, слечь в жесточайшем тифу.

На третий день тюрьма обратилась в кладбище ни разговоров, ни смеха, даже шопота не слышать — нет живых людей, только серые халаты на койках.

Серые стены, серые холсты, за окнами общей камеры — серый осенний день, — серая каторжная явь.

И выползают серенькие мысли — у тех, кто слабее:

— Довольно. Глупо: выше носа не прыгнешь. Принимая во внимание, что...